

Довольно любопытна картина, представляемая съ нѣкоторыхъ поръ нашею консервативной или реакціонной печатью. Въ московскомъ органѣ ея умолкли громы, водворилась тишина, рѣдко прерываемая робкимъ и слабымъ нашептываніемъ прежнихъ мотивовъ. Въ передовыхъ статьяхъ „Московскихъ Вѣдомостей“ во цѣлныя недѣлямъ говорится только о внѣшней политикѣ, о западно-европейскихъ дѣлахъ; немногія статьи, посвященныя Россіи, не имѣютъ боевого характера и отличаются крайнею безцвѣтностью. Газета, еще недавно видѣвшая спасеніе только въ чрезвычайной власти и чрезвычайныхъ мѣрахъ, дошла до того, что привѣтствовала, вмѣстѣ съ другими, упраздненіе Третьяго отдѣленія. Правда, черезъ нѣсколько дней она заговорила другимъ тономъ, восхваляла одного изъ

бывшихъ начальниковъ падшаго учрежденія, отрицая существованію реакціи, которую привыкли связывать съ его именемъ; но эта запоздалая защита могла только повредить защитнику, не принося никакой пользы защищаемому. Для характеристики Третьяго отдѣленія когда останется знаменательнымъ надгробное слово, произнесенное надъ нимъ поддерживавшею его газетой: „бессильное въ борьбѣ со злою, оно было чересчуръ сильно въ подавленіи благотворныхъ движеній жизни, и вредно всего болѣе тому, чему якобы служило“. Мѣсяць спустя послѣ ваногирна г. Шувалову, „Московскія Вѣдомости“ выразили свое сочувствіе „программѣ“ графа Лорисъ-Меликова и этимъ какъ-бы окончательно отказались отъ послѣдовательности, прежде составлявшей ихъ силу—своеобразную, незавидную, но все-таки силу.

Петербургскій органъ реакціи не послѣдовалъ примѣру своего московскаго собрата; онъ не впасть въ апатію, не сложилъ оружія, только-что вытато въ руки. Условія, при которыхъ былъ задуманъ и основанъ „Берегъ“, исчезли почти совершенно ко времени его появленія. Очутившись среди неожиданной обстановки, онъ долженъ былъ либо призвать, что для него не существуетъ больше *raison d'être*, либо обратиться въ живой анахронизмъ, отстаивая покинутую позицію, повторяя, безъ надежды на откликъ, нигуда больше непригодный боевой лозунгъ. Онъ избралъ послѣднее—и продолжаетъ до сихъ поръ твердить старыя фразы о солидарности надпольной печати съ подпольною, даже съ рискомъ для себя образовать третій родъ печати—безпольной,—о неврѣлости нашего общества, о смѣшанныхъ претензіяхъ интеллигенціи, о подтасовкѣ народныхъ идеаловъ и т. п. Читая „Берегъ“, можно подумать, что главное зло, угрожающее въ настоящую минуту русскому обществу, это—„коммуна“, не парижская, а та, два или три примѣра которой ми видѣли въ шестидесятыхъ годахъ. Тона, доставившая брошюрамъ г. Цитовича успѣхъ особаго рода, до пресненія разрабатывается въ его газетѣ. Въ этомъ повтореніи заговъ, въ неразборчивости, съ которою пускаются въ ходъ обвиненія и заподозриванія, бессиліе реакціи чувствуется такъ же ясно, какъ и въ безразличномъ молчаніи „Московскихъ Вѣдомостей“ Мель-

количеству вбитой пѣны. Послѣ „Дневника“, какъ и до него, реакціонная печать не имѣетъ подъ ногами никакой прочной почвы. Она всегда жила заимствованиями извнѣ, держалась чужой силой; представленная самой сабѣ, она не можетъ играть выдающейся роли въ нашей умственной жизни.

Отъ послѣднихъ могоканъ реакціи отраднo перейти къ нашему противнику, возвращенію котораго на журнальную сцену еще недавно казалось немислимымъ. Съ половины этого мѣсяца, И. С. Аксаковъ будетъ издавать въ Москвѣ еженедѣльную газету: „Русь“. Называя его нашимъ противникомъ, мы руководствуемся не только воспоминаніями о прежней дѣятельности его, но и программой „Руси“, прямо выдающей перчатку значительному отдѣлу нашей журналистики. „Ложь“—читаемъ мы въ этой программѣ—„не упразднилась, а вступила лишь въ новый фазисъ. Въмѣсто прежняго наивно-огурьнаго отрицанія русской народности происходитьвольная и невольная подтасовка русскихъ народныхъ идеаловъ... Печальники о русскомъ народѣ и „любители“ расплодилось теперь не мало; но эти печальники, по выраженію поэта, за немногими исключеніями, плачутъ лишь о народѣ, а не съ народомъ; эти любители, но ббльшей части, не стоятъ съ нимъ въ общеніи мысли и духа, и именно не любятъ того, что ему всего святѣе и дороже... Значительная часть нашей „интеллигенціи“, съ важностью и самодовольствомъ разсѣвшись налѣво и направо „въ либералахъ“ и „въ консерваторахъ“, воображаетъ и величаетъ себя дѣйствительно интеллигенціей и совсѣмъ готовой, достойной представительницей русскаго народа! Либералы, консерваторы! Долго ли намъ тѣнитъ ся этими вадорными, пошлыми, нустозвонными у насъ клнчками? Истинно либеральна и консервативна у насъ только народная жизненная правда... Насущная современная потребность нашего общества, а вмѣстѣ и обязанность печати, какъ мы ее понимаемъ, это—эмансипація русскаго общества отъ рабства, почти уже невольнаго, иностраннымъ міровоззрѣніямъ (только имъ однимъ?!), отъ отвлеченности, отъ доктринерства вообще—этого закоренѣлаго, историческаго нашего недуга, такъ чудовищно развившагося въ томъ безвоздушномъ пространствѣ, въ которомъ осуждена была витать русская мысль. Помышленіе деравой надменности теоретическимъ знаніемъ, не больше смиренія вередъ замесіями русской жизни!“

Если бы подъ этой программой не стояло имя И. С. Аксакова, если бы за нею не стояло его печатное проклясе, наши реакціонеры могли бы узвать въ ней самниъ себя и воскликнуть, торжествуя: „вашего полку прибыло!“ Насмѣшки надъ „интеллигенціей“, надъ „партіями“, надъ „печальниками народа“, отвергающими самниъ до-

рші вѣрованія его, надъ доктринерствомъ, преклоняющіеся передъ иностранными образцами— все это любимые тезисы той группы, которая стоитъ поперекъ движенія, все это коньки, болѣе чѣмъ когда-нибудь заѣзженные „Берегомъ“. Мы знаемъ очень хорошо, что за вѣдшимъ сходствомъ скрывается глубокое внутреннее различіе, что редакторъ „Руси“ никогда не шель и не пойдетъ одной дорогой съ п. Цетовичемъ, Катковымъ и Достоевскимъ, что онъ высоко цѣнитъ свободную мысль и свободное слово, въ нихъ однихъ видитъ средство къ торжеству своей идеи; но мы не можемъ не пожалѣть, что именно скитничная, свѣтлая сторона этой идеи всего меньше отразилась въ программѣ новой газеты. Прочитавъ ее, можно подумать, что долготное молчаніе г. Аксакова было добровольнымъ, что ему предстоитъ бороться только съ отрицателями народности, съ слѣбыми юнкунниками европеизма. Вся иронія, все краснорѣчіе его обрушивается на послѣднихъ; другой сторонѣ не достается ни одного удара, если не считать нѣсколькихъ словъ о „безводномъ пространствѣ, въ которомъ осуждена была витать русская мысль“. Неужели главное то, отъ котораго мы страдали до сихъ поръ, заключалось въ „дерзкой надменности теоретическимъ знаніемъ“, въ недостаткѣ „смиренія передъ явленіями русской жизни“? Бѣдность теоретическаго знанія, во всѣхъ ея разнообразныхъ формахъ, начиная съ мишуры поверхностнаго дилеттантства до грубаго невѣжества, до непрогляднаго мрака суетнѣй и предразсудковъ— вотъ болѣзнь, отъ которой мы не исцѣлились до сихъ поръ, явленіями которой запечатлѣна каждая страница нашего прошедшаго и нашего настоящаго. Смиреніе передъ явленіями русской жизни было одною изъ основъ, на которыхъ держалось крѣпкое право; это смиреніе проповѣдывалъ Гоголь въ „Перепискѣ съ друзьями“; въ это смиреніе, какъ въ удобный и приличный костюмъ, рдился эгоизмъ, заинтересованный въ сохраненіи существующихъ порядковъ. Чѣмъ недугомъ было у насъ доктринерство, понимаемое въ смыслѣ пристрастія къ отвлеченіямъ и игнорированія жизни? Во всякомъ случаѣ не недугомъ лучшей части нашего общества, никогда— съ тѣхъ поръ, какъ она научилась мыслить— не успокоивавшейся на одномъ абстрактномъ принципѣ, всегда повѣрявшей его указаніями опыта. Доктринерство, въ концѣ тридцатыхъ и началѣ сороковыхъ годовъ, подсказывало русскому уму гегелевское оправданіе дѣйствительности— но жизнь мѣшала ему принять это оправданіе и провозгласить разумность страданія и горя. Запасъ опыта, правда, былъ не великъ, указанія его были неполны и неточны; но виновато ли въ томъ русское общество, русская „интеллигенція“? Г-ну Аксакову не нравится это слово,— но оно выражаетъ собою безспорный фактъ, фактъ существованія индивидуальности, отдающаго себѣ отчетъ въ своихъ стремленіяхъ и взгля-

дакъ, способнаго къ сознательной дѣятельности, въ виду опредѣленной цѣли. Къ этому меньшинству принадлежать и западники, и славянофилы, — и консерваторы, и либералы; оно существуетъ не только у насъ, но и во всѣхъ другихъ европейскихъ государствахъ, отличающахся тамъ только болѣею многочисленностью и болѣею политическимъ развитіемъ. Его нельзя ни отрицать, ни игнорировать; оно не совмѣщаетъ въ себѣ всѣхъ живыхъ силъ народа, но является одною изъ этихъ силъ, тѣсно связанною съ остальными, хотя повидимому и разобщенною съ ними. Наше меньшинство—если разсматривать его какъ одно цѣлое,—нельзя упрекнуть въ томъ, что оно забываетъ о большинствѣ, претендуетъ на замкнутость, на исключительное господство. Оно не считаетъ себя „готовымъ представителемъ русскаго народа“; не для себя одного оно желало и желаетъ болѣе широкой, болѣе дѣятельной роли. Его обвиняютъ въ томъ, что оно „разсѣлось налѣво и направо“; но какими же образомъ оно могло разсѣсться иначе? Картинное выраженіе, употребленное г. Аксаковымъ, легко обратить противъ него, противъ его основной мысли. Существованіе отбѣиковъ въ средѣ меньшинства—столь же естественно и неизбежно, какъ распредѣленіе сидящихъ, въ биткомъ наполненной залѣ, между правой и лѣвой ея сторонами. Никто не можетъ ухитриться такъ, чтобы сидѣть въ одно и то же время и на той, и на другой сторонѣ залы; никто не можетъ, однажды поднявшись на извѣстную ступень умственнаго и нравственнаго развитія, желать въ одно и то же время движенія—и застоя, стремиться къ реформамъ—и сознательно мѣшать ихъ осуществленію. Можно спорить о словахъ, можно находить, что термины: „правые и лѣвые, консерваторы и либералы“—недостаточно ясны и опредѣленны, непримѣнны, въ общепринятомъ ихъ смыслѣ, къ русской жизни; но отвергать понятія, означаемыя этими терминами—все равно, что отрицать факты, совершающіеся передъ нашими глазами. Дѣло не въ кличкахъ, извѣстныхъ и условныхъ, а въ реальномъ столкновеніи мѣній, образующихся на реальной почвѣ. Если либерализмъ и консерватизмъ — пустыя фразы, то что же сказать о „народной жизненной правдѣ“, которая одна „истинно либеральна и истинно консервативна?“ Что сказать о формулѣ, въ которую можетъ быть вложено самое равнообразное содержаніе? Намъ говорятъ о самодовольствѣ; но развѣ не болѣе самодоволенъ тотъ, кто считаетъ одного себя постигшимъ „народную правду“? Не съ важностью, не съ самодовольствомъ разсуживаются у насъ налѣво и направо тѣ, которые научились различать, въ переносномъ смыслѣ, лѣвую руку отъ правой; они занимаютъ избранное ими мѣсто съ глубоко-печальнымъ сознаніемъ трудностей, которыя ихъ окружаютъ, стѣспеній, встрѣчаемыхъ не только дѣятельностью, но и словомъ. Принимая къ той или дру-

той группѣ, они вовсе не считаютъ ее организованной силой; ихъ мечеть къ ней исключительно сознаваемое, чувствуемое ими сходство въ желаніяхъ и взглядахъ. Идея „народной правды“ не соединитъ разбродившихъ группъ, уже потому, что каждая изъ нихъ пойметъ ее по-своему — и проповѣдникъ этой правды составитъ, вмѣстѣ съ своими друзьями, новую группу, правую по отношенію къ одиѣмъ, лѣвую по отношенію къ другимъ. Въ этомъ убѣжденіи мы заранѣе привѣтствуемъ новаго собрата; мы знаемъ, что русская печать пріобрѣтетъ въ немъ односторонняго, но—искренняго и честнаго борца за благо русскаго народа.

---